**К юношам о том, как получать пользу из языческих сочинений**

Святитель свт. Василий Великий

Много у меня побуждений посоветовать вам, чада,  что признаю лучшим, и что, как уверен, если примете, будет вам полезно. И настоящий мой возраст, и упражнение во многих уже делах и достаточное изведание всяких и всему научающих перемен сделали меня опытным в делах человеческих; почему едва вступившим в жизнь могу указать как бы самый безопасный путь. При том, по естественному сродству, я —первый для вас после родителей; почему, не меньше отцов, и сам имею к вам благорасположение, и о вас думаю, если только не ошибаюсь в мнении своем, что, видя меня, не желаете видеть родителей. Поэтому, если охотно примете слова мои, будете во втором ряду похваляемых Гезиодом; а в противном случае, хотя бы и не сказал я ничего неприятного, сами припомните стихи, в которых он говорит: "Превосходен тот, кто сам собою усматривает потребное; хорош и тот, кто следует указаниям других; но кто не способен ни к тому, ни к другому, тот вовсе бесполезен".

Не дивитесь же, если вам, которые каждый день ходите к учителям, и с уважаемыми мужами древности беседуете посредством оставленных ими сочинений, скажу, что сам собою нашел я нечто более полезным. О сем-то самом и хочу дать вам совет, а именно, что не должно, однажды навсегда предав сим мужам кормило корабля, следовать за ними, куда не поведут, но заимствуя у них все, что есть полезного, надобно уметь иное и отбросить. А что же это такое, и как это различать, сему и научу, начав так.

Мы полагаем, дети, что настоящая жизнь человеческая вовсе ничего не значит; совершенно не почитаем и не называем благом того, что доставляет нам совершенство в этой только жизни. Ни знаменитости предков, ни крепости, красоты и величия тела, ни почестей от всех людей, ни самого царства, ни всего прочего, что ни наименуют из человеческого, не признаем великим, даже достойным желания, и не обращаем взора на тех, кто имеет сие, но простираем надежды далее, и все делаем для приготовления себе другой жизни. Поэтому, что к оной споспешествует нам, о том говорим, что должно любить сие и домогаться сего всеми силами, а что не переходить в оную, то — презирать, как ничего не стоящее.

Что же это за жизнь, где и как будем проводить ее? — и говорить о сем потребовалось бы долее, чем сообразно с настоящим намерением, и слушать это должны были бы люди более вас возрастные. Впрочем, может быть, достаточно покажу вам это, сказав, что, если кто обымет словом и совокупит во едино все счастье людей, со времени их существования, тот найдет, что это не равняется и малейшей части благ той жизни, а напротив того все здешние блага гораздо больше отстоять достоинством от малейшего из тех благ, чем тень и сновидение скуднее действительности. Лучше же сказать, (употреблю пример более близкий) сколько душа во всем досточестнее тела, столько же и разности между тою и другою жизнью.

В эту жизнь вводят нас, конечно, священные Писания, образующие нас посредством учений таинственных; но пока, по возрасту, не можем изучить глубину смысла их, мы и в других писаниях, не вовсе от них далеких, упражняем на время духовное око, как в некоторых тенях и зерцалах, подражая упражняющимся в деле ратном, которые, приобретя опытность в ловком движении рук и ног, выгодами этой игры пользуются в самых битвах. И мы, конечно, должны держаться той мысли, что нам предлежит подвиг, важнейший всех подвигов, — подвиг, для которого все должны сделать, для приготовления к которому надобно трудиться по мере сил, беседовать и с стихотворцами, и с историками и с ораторами, и со всяким человеком, от кого только может быть какая либо польза к попечению о душе. Красильщики назначенное к окраске приготовляют сперва особыми способами, и потом наводят цвет, пурпуровый, или другой какой: подобным образом и мы, чтобы добрая слава наша навсегда оставалась неизгладимою, посвятив себя предварительному изучению сих внешних писателей, потом уже начнем слушать священные и таинственные уроки, и как бы привыкнув смотреть на солнце в воде, обратим, наконец, взоры к самому свету. Поэтому, ежели между учениями есть какое взаимное сродство, то познание их будет нам кстати. Если же нет сего сродства, то изучать разность учений, сличая их между собою, не мало служить к подтверждению лучшего учения.

Но чему уподобив каждое из сих учений, можем составить себе их образ? Конечно, собственное превосходство дерева — изобиловать зрелыми плодами; но оно носит на себе и некоторое украшение — листы, колеблющиеся на ветвях: так и в душе истина есть преимущественный плод, но не лишено приятности и то, если облечена душа внешнею мудростью, как листьями, которые служат покровом плоду и производят не неприличный вид. Почему говорится, что и тот славный Моисей, которого имя за мудрость у всех людей было весьма велико, сперва упражнял ум египетскими науками, а потом приступил к созерцанию Сущего. А подобно ему, и в позднейшие времена о премудром Данииле повествуется, что он в Вавилоне изучил халдейскую мудрость, и тогда уже коснулся Божественных уроков.

Однако достаточно сказано о том, что сии внешние науки не бесполезны для душ; теперь следует сказать, в какой мере должно вам изучать их. Во-первых, у стихотворцев (начну с них), поелику они в сочинениях своих не одинаковы, не на всем по порядку надобно останавливаться умом, но, когда пересказывают вам деяния или изречения мужей добрых, надобно их любить, соревновать им и, как можно, стараться быть такими же. А когда доходит у них речь до людей злонравных, должно избегать подражания сему, так же затыкая уши, как Одиссей, по словам их, заградил слух от песней сирен. Ибо привычка к словам негодным служить некоторым путем и к делам. Посему со всяким охранением надобно оберегать душу, чтобы, находя удовольствие в словах, незаметно не принять чего-нибудь худого, как иные с медом глотают ядовитые вещества. Поэтому не будем хвалить стихотворцев, когда злословят, насмехаются, представляют влюбленных и упивающихся, или когда ограничивают блаженство раздольным столом и разгульными песнями. Всего же менее будем внимать им, когда говорят что ни ? будь о многих богах, и притом разномыслящих. У них брат в раздоре с братом, отец — с детьми, и у детей опять скрытная война с родителями. А прелюбодеяния богов их, любовные похождения и явные студодеяния, особенно же главы и правителя всех Дия, каким сами они называют его, как такие дела, которые и о скотах без стыда не стал бы рассказывать иной, предоставим лицедеям. То же самое могу сказать и об историках, особенно, когда пишут они историю для развлечения слушателей. И ораторам не будем подражать в искусстве лгать. Ибо ни в судах, ни других делах не прилична ложь нам, избравшим прямой и истинный путь жизни, — нам, которым предписано законом даже и не судиться.

Напротив того займем лучше у них те места, где они восхваляли добродетель и порицали порок. Ибо как для других наслаждение цветами ограничивается благовонием и пестротою красок, а пчелы сбирают с них и мед: так и здесь, кто гоняется не за одною сладостью и приятностью сочинений, тот может из них запастись некоторою пользою для души. Поэтому, во всем уподобляясь пчелам, должны вы изучать сии сочинения. Ибо и пчелы не на все цветы равно садятся, и с тех, на какие сядут, не все стараются унести, но, взяв, что пригодно на их дело,  прочее оставляют нетронутым. И мы, если целомудренны, собрав из сих произведений, что нам свойственно и сродно истиною, остальное будем проходить мимо. И как срывая цветы с розового куста, избегаем шипов, так и в сих сочинениях, воспользовавшись полезным, будем остерегаться вредного.

Поэтому в самом начале нужно рассмотреть каждую из наук и приспособить ее к цели, по дорической пословице: водя мелом по снурку. И поелику до нашей жизни надобно достигать с помощью добродетели, а в похвалу ей многое сказано стихотворцами, многое историками, и еще гораздо более мужами любомудрыми: то на такие особенно сочинения должны обращать внимание. Ибо не малая польза, если души юношей осваиваются и свыкаются с добродетелью, потому что наставления такого рода, по нежности душ, напечатлеваясь глубоко, остаются в них неизгладимыми. Ужели предположим, что Гезиод с другою какою мыслию, а не в поощрение юношей к добродетели, написал следующие, всеми повторяемые стихи? "Не гладок и не преступен в начале, крут и с многим потом и трудом совершается тягостный путь, ведущий к добродетели. Поэтому не всякий может вступить на него, по причине крутизны, а вступив, не легко дойти до вершины. Но кто стал вверху, тот видит, что путь гладок и прекрасен, легок и удобен, и приятнее другого пути, ведущего к пороку, на который не долго вступить, по причине его близости", как говорит тот же самый стихотворец. Ибо мне кажется, что написал он сие не с другим намерением, но поощряя нас к добродетели и всех убеждая быть добрыми, чтобы мы, расслабев для трудов, не отказались идти к цели. Так, если бы и другой кто восхвалял подобным образом добродетель, примем его слова, как руководствующие нас к тому же.

А слышал я у одного искусно изучившего мысли стихотворца, что как все стихотворение Омирово есть похвала добродетели, и все у Омира, кроме придаточного, ведет к сей цели, так не менее к сему же клонится и то место, где Омир представил, что вождь Кефалленян спасся нагим от кораблекрушения , и что сперва царица, когда надлежало бы ей застыдиться, увидев его нагим, при самом его появлении, ощутила к нему уважение; потому что стихотворец представил его вместо одежды украшенным добродетелью; потом и прочие Феакеане столько почли его достойным, что, оставив роскошь, в какой жили, стали все на него смотреть и ему подражать, и ни один Феакеанин ничего более не желал тогда, как сделаться Одиссеем, и притом спасшимся от кораблекрушения. В этом месте, как говорил истолкователь стихотворной мысли, Омир, едва не в слух всем вопия, говорить: "Одобродетели должно стараться вам, люди; она и с претерпевшим кораблекрушение спасается от потопления, и на суше доведенного до наготы кажет более досточестным, нежели счастливых Феакеан". Такова-то добродетель! Другие стяжания не более принадлежат своим владетелям, как и всякому другому, подобно тому, как кость в игре выпадает и той и другой стороной; одно стяжание не отъемлемо, — это добродетель; она принадлежит человеку и при жизни, и по смерти.

Посему-то, как кажется, и Солон говорит богатым: "А мы не поменяемся с ними богатством добродетели; потому что оно всегда постоянно, а имуществом людей владеет то тот, то другой". Подобно сему и то место у Феогнида, где он говорит, что "Бог (какого Бога он ни разумел) наклоняет людям то ту, то другую чашку у весов, чтобы им то богатеть, то ничего не иметь". — Да и хийский софист Продик, в одном месте своих сочинений, сходно с сим любомудрствовал о добродетели и пороке. И в его слова надобно вникнуть умом; потому что он человек не презрения достойный. Говорится же у него там, сколько помню его мысль, потому что слов не знаю, кроме того, что сказано это просто, не мерною речью: "Когда Иракл, будучи очень молод, и в таком же почти возрасте, в каком теперь вы, рассуждал, на какой ему обратиться путь, на тот ли, который чрез труды ведет к добродетели, или на другой легчайший: подошли две женщины; а это были добродетель и порок: потому что, хотя они и молчали, но различие тотчас выказывалось в наружности. У одной красота была подготовлена с помощью притираний; она дышала роскошью; неотлучно водила с собою целый рой удовольствий, старалась привлечь к себе Иракла. Другая была худощава, неубрана, смотрела пристально и выражала в себе иное тому подобное; потому что обещала не что-нибудь легкое и приятное, но тысячи трудов, подвигов и опасностей везде — и на суше, и на море. А награда за это такова, что можно стать богом, как выразился Продик. И Иракл последовал, наконец, за сею женщиною". И все почти сколько-нибудь заслуживающие внимание по мудрости, каждый по мере сил, в сочинениях своих более или менее распространялись в похвалу добродетели; им должно верить, и надобно стараться в самой жизни выразить их учения. И кто любомудрие, заключающееся у других в словах, оправдывает делом, тот "один жив; прочие же только движущиеся тени". Мне кажется, что такой образ действий походит на то, как если бы живописец подражал чему-нибудь дивному, например, красоте человека, и человек действительно был таков, каким тот представил его на картине. Ибо с жаром хвалить добродетель пред людьми, вести о ней длинные речи, а наедине предпочитать целомудрию удовольствие, и справедливости — прибыток; назвал бы я подражанием тем, которые лицедействуют на зрелище, и часто выходят представлять царей и владельцев, не будучи не только ни царями, ни владельцами, но даже, может быть, и свободными. Притом, играющий на лире не охотно согласится, чтобы лира у него была не настроена; и начальник лика не захочет иметь у себя такой лик, который бы не пел, как можно, согласнее. Таким образом каждый сам с собою будет в разладе, представит жизнь не соответствующею словам, будет говорить словами Еврипида: "Язык у меня клялся, а сердце не чувствовало в клятве", и виноват будет в том, что кажется добрым вместо того, чтобы быть таким. Но если поверить Платону, это крайний предел несправедливости казаться справедливым, не будучи таким.

Поэтому так будем принимать сочинения, в которых заключаются правила добродетели. Поелику же и доблестные деяния древних мужей или соблюли до нас в непрерывной памяти людей, или сохранены в сочинениях стихотворцев и историков: то не лишим себя и отсюда происходящей пользы. Например, некто в народном собрании злословил Перикла, но он не обращал на то внимания, и целый день продолжалось, что один осыпал другого ругательствами, а другой ни мало о том не заботился. Потом вечером уже, и когда смерклось, этого человека, едва прекратившего брань, Перикл проводил с светильником, чтобы не даром пропало у него упражнение в любомудрии. Еще кто-то, рассердившись, грозил смертью Евклиду мегарскому и клялся в этом. Но Евклид сам дал клятву, что умилостивит его и заставить прекратить свое к нему нерасположение. Как хорошо, если приходят на память таковые примеры человеку, когда он одержим уже гневом! Ибо не должно верить трагедии, которая без рассуждения говорить: "Раздражение вооружает руку на врагов". Напротив того, всего лучше вовсе не приходить в раздражение. Если же это трудно, то по крайней мере, удерживая раздражительность рассудком, как уздою, надобно не дозволять выходить ей за пределы.

Но возвратим слово назад к примерам доблестных мужей. Некто, нещадно нападая на Софронискова сына, Сократа, бил его в самое лице, а он не противился, но дозволил этому пьяному человеку насытить свой гнев, так что лице у Сократа от ударов уже опухло и покрылось ранами. Когда же тот перестал бить: Сократ, как сказывают, ничего другого не сделал, а только, как на статуе пишут имя художника, написал на лбу: "Делал такой-то"; и тем отмстил. Поелику это указывает на одно почти с нашими правилами: то утверждаю, что весьма хорошо подражать таким мужам. Ибо этот поступок Сократа сходен с заповедью, по которой ударяющему по ланите должен ты подставить другую (Матф. 5, 39), — в такой мере надобно мстить за себя! А поступок Перикла или Евклида сроден с заповедью: терпеть гонителей и кротко переносить гнев их, — и с заповедью: желать добра врагам, а не проклинать их (44). Посему предварительно обученный сему не будет не верить заповедям, как чему-то невозможному. Не умолчу и о поступке Александровом. Александр, взяв в плен дочерей Дария, о которых засвидетельствовано, что красота их была удивительна, не удостоил и видеть их, считая постыдным — победителю мужей уступать над собою победу женщинам. Ибо это указывает на одно с заповедью, что воззревший на женщину для услаждения, хотя и не совершит прелюбодеяния самым делом, но за то, что допустил в душу желание, не освобождается от вины (Матф. 5, 28). О поступке же Клиния, одного из близких Пифагору, трудно поверит, чтобы сходство его с нашими правилами было делом случая, а не тщательного подражания. Что же сделал Клиний? Дав клятву, мог он избежать потери трех талантов; но лучше заплатил их, чем стал клясться, хотя клятва его была в деле справедливом. Он как будто, представляю я, слышал ту заповедь, которая запрещает нам клятву (Матф. 5, 33—37).

Но возвратимся опять к тому же, что сказано в начале, — а именно, что не все по порядку надобно нам брать, а только полезное. Ибо стыдно, вредное в пище отвергать, а в науках, которые питают нашу душу, не делать никакого разбора, но, подобно весеннему ручью, увлекая за собою все встречающееся, нагружать тем душу. И какой в этом расчет, если кормчий не безрассудно отдается ветрам, но направляет ладью в безопасное место, и стрелок бросает стрелу в цель, и медник и плотник стремятся к концу, сообразному с их искусством, а мы останемся ниже и этих рабочих, имея возможность разуметь свое дело? И у ремесленников работа их имеет цель; а для жизни человеческой нет будто цели, смотря на которую должно все делать и говорить тому, кто не намерен совершенно уподобиться бессловесным? В таком случае, совершенно подобно не оснащенным кораблям, никакому уму не вверив кормила души, будем без цели туда и сюда носиться по жизни. Но и в состязаниях телесными силами, а если угодно, и на музыкальных орудиях, упражняются в тех именно подвигах, за которые предложены венцы, а никто, упражняющийся в борьбе, также в кулачном бою и борьбе вместе, не станет учиться играть на гуслях, или на свирели. По крайней мере не делал так Полидам. но пред олимпийским подвигом останавливал он на бегу колесницы, и тем укреплял свои силы. И Милон не сходил с намазанного маслом щита, а когда стаскивали его, противился не меньше, чем статуи, припаянные свинцом. Вообще у них упражнения были приготовлением к подвигам. А если бы, оставив усыпанное песком поприще и телесные упражнения, занялись бряцаниями Марсия, или фригийского Олимпа: то ужели бы получили венцы и славу, а не бежали прочь, чтобы не насмеялись над ними? Но и Тимофей не проводил времени на ратоборных поприщах, оставив сладкопение; иначе не удалось бы превзойти так в музыке и ему, у которого столько было искусства, что и возбуждал гнев созвучиями напряженными и жестокими, и опять укрощал и смягчал его созвучиями нежными. Сим-то, говорят, искусством, выигрывая однажды пред Александром фригийскую песню, заставил его среди ужина взяться за оружие, и потом, смягчив звуки, сделал, что опять возвратился он к пирующим. Такую-то крепость сил к достижению цели в музыке и телесных подвигах доставляет упражнение!

Но поелику упомянул я о венцах и о подвижниках; то присовокуплю: они, претерпев тысячи трудностей в тысяче случаев, всеми мерами приумножив свою силу, пролив много пота в трудных телесных упражнениях, приняв много побоев в училище, избрав не самый приятный образ жизни, но предписанный учителями, и во всем прочем (скажу не распространяясь) ведя себя так, что жизнь их до подвига была упражнением в подвиге, уже после всего этого являются готовыми на поприще, переносят все труды и опасности, чтобы получить венок из дикой маслины, или из гирчи, или из чего-нибудь подобного и, победив, заслужить провозглашение от глашатая. Ужели же нам, которым за жизнь предлежат награды столь удивительные по множеству и величию, что не возможно и словом их выразить, когда спим на оба уха и проводим жизнь в большой беспечности, остается взять только эти награды левой рукою? Тогда высоко бы ценилась праздная жизнь, и у всех восхитил бы первенство в счастье Сарданапал, или, если угодно, Маргит, о котором сказал Омир (если только Омировы это стихи), что он был ни пахарь, ни пахатель, ни человек, способный к чему либо в жизни. Но не более ли истинно изречете Питтака, который сказал, что "Трудно пребыть добродетельным"? Ибо действительно, даже подъяв много трудов, едва можем сподобиться тех благ, которым, как выше сказано, нет и образца между благами человеческими.

Поэтому не должно нам лениться и на краткий покой променивать великие надежды, если не хотим слышать укоризны и терпеть наказания, — не здесь от людей, хотя и сие не маловажно для имеющего ум, но на тех судилищах, где бы они ни были, хотя бы под землею, или где в другом месте. Невольно погрешившему против долга, может быть, и будет некоторое помилование от Бога; но намеренно избравшему худое нет и отговорки, почему бы не терпеть сугубого наказания. Что же нам делать? скажет кто-нибудь. — Что иное, кроме того, чтобы, освободившись от всех других попечений, иметь попечете о душе?

Поэтому не должно служить телу, кроме крайней необходимости, а душе надобно доставлять все лучшее, любомудрием, как от темницы, освобождая ее от общения с телесными страстями, а вместе и тело делая неодолимым для страстей. Чреву надобно доставить необходимое, но не слишком сладкое, как делают выдумывающие каких-то приготовителен стола и поваров, обыскивающие всю сушу и море, собирающие дани, как жестокому какому-то властелину, — эти жалкие труженики, страждущие не менее мучимых в аде, которые подлинно прядут огонь, решетом носят воду, льют в дырявую бочку, не видят конца трудам. А трудиться сверх нужды над волосами и одеждами, по выражению Диогена, свойственно или злосчастным, или обидчикам. Посему утверждаю, что быть и называться щеголем, должны мы почитать столько же срамным делом, как и жить непотребно и злоумышлять на чужое брачное ложе. Ибо для имеющего ум какая разность — надеть ли на себя зрелищный наряд, или носить одежду простолюдина, если только она достаточно защищает от холода и жара? Подобным образом и прочее надобно заготовлять себе, не превышая нужды, и не больше заботиться о теле, но сколько хорошо это для души. Мужу, по истине достойному сего именования, быть щеголем и занятым своею наружностью не менее укоризненно, как и рабски предаваться другой какой либо страсти. Употреблять все старание на то, чтобы тело было, как можно, наряднее, свойственно человеку, который не познал сам себя и не понимает того мудрого правила, что не одно видимое составляет человека, а потребна некая высшая мудрость, посредством которой каждый из нас познает себя, каков он. А сие имеющим не очищенный ум более невозможно, чем больному глазами смотреть на солнце.

Очищением же души (чтобы сказать одним разом, и достаточно для вас) служить — презирать чувственные удовольствия, не насыщать глаз нелепыми представлениями чудодеев, или зрением тел, возбуждающих к сластолюбию, и чрез слух не вливать в душу поврежденного сладкопения. Ибо от такого рода музыки, обыкновенно, возникают страсти —порождения рабства и низости. А нам должно учиться иной музыке, которая лучше, и ведет к лучшему, которою пользуясь Давид, творец священных песнопений, как говорит Писание, избавлял царя от неистовства. Сказывают же, что Пифагор, встретив упившихся на пиру, свирельщику, который управлял пиром, велел, переменив напев, заиграть на дорический лад, и пирующие так образумлены были этою игрою, что, сбросив с себя венки, разошлись со стыдом. А иные при звуках свирели предаются неистовствам, как корибанты и вакханты. Столько разности — наполнять ли слух сладкопением здравым, или негодным! Посему в этом господствующем ныне сладкопении должно вам участвовать менее, чем в каком либо из срамных дел. А растворять воздух различными испарениями, доставляющими удовольствие обонянию, намазать себя благовонными мазями, стыжусь и запрещать вам. Что же сказал бы иной о том, что не надобно гоняться за удовольствиями осязания и вкуса, разве то одно, что преданные уловлению сих удовольствий принуждены ими бывают жить подобно скотам, по прихотям чрева и того, что ниже чрева. Одним словом, все телесное должно презирать тому, кто не хочет, как в тине, погрязнуть в телесных удовольствиях. Столько надобно иметь к телу привязанности, сколько, говорит Платон, участвует оно в служении любомудрию, выражаясь несколько подобно Павлу, который дает совет, что ни мало не должно телу угодья творить в повод похотям (Рим. 13, 14). Те, которые заботятся, чтобы тело было, как можно, наряднее, а душу, которая действует чрез тело, презирают, как ничего не стоящую, чем отличаются от людей, прилагающих попечение об орудиях, но нерадящих об искусстве, действующем чрез орудие? Поэтому, совершенно напротив, должно обуздывать и сдерживать тело, как порывы зверя, и мятежи, производимые им в душе, усмирять, поражая рассудком, как бичем, а не ослаблять вовсе узды сластолюбию, и не пренебрегать тем, что ум увлекается им, подобно вознице, которого неудержимо несут необузданные кони. И надобно припоминать, как Пифагор, узнав, что один из его знакомых очень тучнеет от телесных упражнений и многоедения, сказал ему: "Перестанешь ли отстраивать себе несноснейшую тюрьму"? Поэтому, говорят, и Платон, предусматривая, что тело вредит душе, с намерением избрал для Академии не совсем здоровое в Аттике место, чтобы не давать телу очень нежиться, как и винограду не дают разрастаться в излишние ветви. А я слышал от врачей, что крайняя степень здоровья даже опасна.

Итак, если излишнее попечение о теле бесполезно для самого тела и служит препятствием душе; то покорствовать и услуживать телу — явное безумие. Но если бы научились мы презирать его, то едва ли бы стали удивляться чему-нибудь другому из всего человеческого. Ибо на что понадобилось бы еще богатство нам, которые ни во что ставим телесные удовольствия? Я не вижу никакой надобности, разве только, как в баснях говорится о драконах, и то доставляет некоторое удовольствие, чтобы неусыпно стеречь закрытые сокровища. Но кто обучился в рассуждении подобных вещей вести себя благородно, тот вовсе не способен избрать что-нибудь низкое и постыдное в деле, или в слове. Что сверх нужды, будь это лидийский песок, или работа златоносных муравьев, тем более станет он гнушаться этим, чем менее находит в том потребности. Самую нужду будет определять он естественными потребностями, а не удовольствиями. Ибо преступившие пределы потребностей, подобно несущимся вниз по скату, не имея перед собою ничего такого, на чем бы удержаться, нигде не останавливаются в своем стремлении вперед, но чем более простираются вперед, тем паче, для удовлетворения пожелания, имеют нужду в равном прежнему, или еще в большем, по изречению Ексикестидова сына, Солона, который говорит: "В богатстве у людей нет явного предела". В этом же надобно взять себе в учители Феогнида, который говорит: "Не люблю и не желаю богатеть, а только бы прожить мне малым, не встретив ничего худого". А я дивлюсь презрению всего вообще человеческого и в Диогене, который доказал, что он богатее и великого царя; потому что меньше его имеет нужд в жизни. А нам, если нет у нас такого же числа талантов, как у Пифия мисийского, нет стольких и стольких десятин земли, нет стад скота, которых бы нельзя было и перечесть, нам все еще мало.

Но думаю, что, когда нет богатства, не должно его желать, а когда оно есть, надобно думать не о том, что обладаешь им, но о том, умеешь ли располагать им? Прекрасно изречение Сократа, который об одном богатом человеке, высоко думавшем о деньгах, сказал, что не прежде станет удивляться ему, как изведав, умеет ли пользоваться ими. Фидий и Поликлет, если бы много стали превозноситься золотом и слоновою костью, из которых первый сделал Илиянам Дия, а другой Аргивянам Иру, подверглись бы посмеянию за то, что, хвастаясь чужим богатством, оставили в стороне искусство, от которого и золото стало приятнее и драгоценнее. А мы, предполагая, что человеческая добродетель сама по себе не достаточна для украшения, думаем о таком своем поступке, что он менее постыден! Ужели, презрев богатство и чувственные удовольствия поставив ни во что, погонимся за лестно и ласкательством, и станем подражать пронырству и оборотливости Архилоховой лисицы? Человеку здравомыслящему более всего должно избегать того, чтобы жить для славы, сообразоваться с мнением большинства, а не правый разум ставить вождем жизни; но, хотя бы пришлось противоречить всем людям, или за прекрасное навлечь на себя бесславие и опасности, и в таком случае не должно решаться на извращение правильно дознанного. А кто не таков, о том скажем ли, что отстает он в чем-нибудь от египетского софиста, который, когда хотел, делался деревом, зверем, огнем, водой и всякою вещью, если только он то будет хвалить справедливое пред чтителями справедливости, то станет говорить противное, когда заметит, что одобряют несправедливость, как это в обычае у льстецов; и как говорят о полипе, что меняет цвет по цвету земли, которая под ним, так и он будет менять свои мысли, по расположено людей, которые при нем?

Но хотя этому совершеннее обучимся из наших писаний, однако же и из внешних уроков очертим на сей раз как бы некоторый оттенок добродетели. У тщательно собирающих пользу с каждой вещи, как и в больших реках, по Гезиоду, отовсюду, обыкновенно, прибывает многое. Ибо изречете стихотворца: "Прибавляй малое к малому", надобно почитать правильным не только о приращении серебра, но и обо всяком звании. Поэтому Виас, когда сын, отправляясь к Египтянам, спрашивал, что делая, особенно угодит он отцу, отвечал: "Приобрети напутствие к старости", а напутствием назвал добродетель, заключив ее в тесные пределы; потому что ограничил пользу ее продолжением человеческой жизни. А я, хотя бы кто наименовал мне старость Тифона, или Арганфония, или старость самого долговечного у нас Мафусала, о котором сказано, что жил тысячу лет без тридцати, хотя бы отчислил все время сначала, как стали существовать люди, посмеюсь этому, как детской мысли, простирая взор в тот долгий и не стареющийся век, в котором так же нельзя примышлением своим постигнуть предела, как назначить и предположить кончину бессмертной душе. Для сего-то века советовал бы я вам приобрести напутствие, не оставив по пословице, не двинутым ни одного камня, если только будет вам от того какая польза. Не будем бездействовать по той причине, что это тяжело и требует труда; но помня совет сказавшего, что всякому должно избирать жизнь совершеннейшую и ожидать, что привычка сделает ее приятною, испытаем то, что всего лучше. Ибо стыдно, потеряв настоящее время, в последствии стараться возвратить прошедшее, чего не сделаешь уже никакою скорбью.

Итак я, что признаю важнейшим, частью сказал вам теперь, а частью буду советовать и во всю жизнь. А вы, так как болезни бывают троякие, не окажитесь подобными неизлечимо больным, и не обнаружьте в себе недуга воли, похожего на болезнь страждущих телом. Ибо страждущие не важною болезнью сами приходят ко врачам; одержимые важнейшими недугами к себе призывают врачующих; а впадшие совершенно в неисцелимую болезнь черножелчия и приходящих к ним врачей не допускают до себя, чего да не будет ныне с вами; вы не убегайте от людей, которые рассуждают право!